

Чехов А. П.

26 ЯНВ 1960

Советская культура
г. Москва

26.01.60

РАССКАЗ СТАРОГО
САХАЛИНЦА

ЗАВЕТНЫЙ ПОДАРОК

ЭТО было в 1916 году. В то время в некоторых селениях Сахалина еще можно было встретить старых каторжников, сосланных на остров чуть ли не в первые годы его заселения. Молодежь, родившаяся на острове изгнания, смотрела на этих аборигенов с чувством удивления и почтительности. Своими рассказами они воскрешали перед нами канувшее в вечность мрачное прошлое этого богатейшего ныне края.

Верстах в семи-восьми от города Александровска — бывшей «столицы» сахалинской каторги и ссылки — проживал высокий седой, как лунь, старик. Знали его или слыхали о нем взрослые и дети, вероятно, на всем острове. У него словно не было ни отчества, ни фамилии. Все звали его просто «дядя Гриша».

Жил он один-одинешенек. Старуха давно умерла. Детей не было. Избушка его, ветхая, как и сам хозяин, наклонилась окнами к земле, а гесовая крыша потемнела и поросла мхом. Заботами соседок, любивших старика, в избушке поддерживались чистота и порядок. Стены были свежесвежены, кухонный стол тщательно выскоблен, полы вымыты и застелены холщовыми половичками. На стенах в крошечной горнице висело несколько пожелтевших от времени фотографий. И среди них на самом почетном месте — портрет Антона Павловича Чехова.

При ближайшем рассмотрении оказывалось, что портрет не рисован, а состоит из написанного мельчайшим почерком, в разных направлениях, рассказа самого писателя. Однако сделано это было так искусно, что даже при самом незначительном отдалении поражало удивительное сходство, и вы забывали о необычном приеме неизвестного художника.

Дядя Гриша, откуда у тебя этот портрет? — спросил я старика, попав к нему в гости вместе с двумя товарищами.

О-о! — многозначительно протянул он в ответ. — Это ж его высокородие Антон Павлович Чехов. Мой благодетель. По гроб жизни не забуду его!

Мы переглянулись.

Да какой же он тебе «высокородие», дядя Гриша? Он ведь не чиновник, а писатель!

Вот спасибо! Уважили старика!.. А я-то, горемыка, и не знал, кто

он такой, — не без иронии заметил старик. Он достал из-за иконы томик избранных произведений Чехова и с гордостью произнес: — Вот!.. Люблю его рассказы. Все в них просто, понятно, душевно... И сам он был простой и душевный со всеми нами... Почитаю его выше всяких там превосходительств... Вот как!.. — Погасшие от горя и слез глаза его вдруг хитро заблестели: — Постойте, голуби вы мои! А сами-то что вы знаете об Антоне Павловиче?

Еще бы не знать! — уверенно ответил один из моих друзей. — Чехов — известный русский писатель. Он приезжал сюда в 1890 году. А потом выпустил книгу под названием «Остров Сахалин»...

И только-то всего?! — удивился старик. — Не много же вы знаете... Эх, вы, бедные птенчики!.. Заучили с чужого голоса, да и повторяете бездумно-бездумно: «Известный писатель!», «Выпустил книгу!», «Ну, а человек-то он какой был, вы знаете?»

Мы стыдливо потупились.

А возбужденный воспоминаниями старик продолжал:

Он был душою всех несчастных! Вот кем он был!

Потом старик открыл небольшой, облупившийся от времени сундучок и вынул оттуда узелок. Когда он развернул белый платок, в узелке оказался серенький пиджачок. Бережно подняв его обеими руками, дядя Гриша торжественно спросил:

Вот видите! Что это такое, а?

Пиджак, — растерянно отвечали мы.

Пинжак! — с обидой в голосе передразнил хозяин. — Нет, голуби вы мои, это не пинжак! Это память о золотом человеке. Вот что это!..

Мы стали приставать к нашему хозяину, чтобы он рассказал о заветном подарке подробнее. Старик, конечно, только этого и ждал, но все еще продолжал ершиться...

Вот то-то и оно, — бормотал он, — «расскажи»... Давно бы так... А то — «знаем, известный писатель»...

Старик опустил голову и на время глубоко задумался. Потом тихо начал...

ПРИВЕЗЛИ меня на Сахалин в 86-м, весной. Было мне в ту пору сорок два года. А теперь уже семьдесят один стукнул. Вот как... Бежит время, ничем его не удержишь... Да-а... Осужден я был на 12 лет. Содержался в «вольной» тюрьме. Да вы, верно, слыхали, что в Александровском посту две тюрьмы было: одна, значит, «вольная» — для краткосрочных, до 15 лет; а другая «кандаальная» — для долгосрочников. Им, горемыкам, от весны до глубокой осени полголовы брили, а ноги в цепи заковывали, чтобы кто, сохрани бог, бежать с острова не вздумал. Ну, а нам, краткосрочным, вроде как послабление было: на работу нас с одними надзирателями гоняли, а после работы мы могли вольно по улицам ходить. Главное, чтобы урок, заданный на работе, выполнен был.

А работа и кормежка у всех одинаковая была — каторжная. И бревна на себе в поларшина толщиной да десять аршин длиной из леса таскали. И лии корчевали. И тунелю в каменной горе чуть не голыми руками рыли. И канавы в болотах копали... Как простоишь, бывало, день-деньской по пояс в холодной воде, все тело занемеет. А тут мошара заедает. Не то дождь зарядит на несколько дней или ветер пронизывает до самых костей... Одежка-то, как говорится, «донска — коротка, узка: садись — не сгибайся, а ложись спать — не выпрямляйся», грязная, убогая, вечно мокрая. А сами-то мы, как волки, всегда голодные. Тут с утра поневоле всех поминать начинаешь: и бога, и святых, и душу, и начальство, и остров Сахалин... Сколько на этом острове нашего брата полегло в землю — и не счесть... Уж на что я крепкий был, и то каждый год в лазарет попадал, смерти-матушке в глаза заглядывал.

Не выдерживал народ: сходили с ума, вешались, топились... Иные бежать пытались. Только куда убежишь, когда кругом вода! Поймают бегунов, избьют до полусмерти, прибавят срок по 10—15 лет, и снова они, горемыки, тянут свою каторжную лямку, звенят цепями, пока на ногах держатся.

Пожалуйста докторам, те не верят, говорят: «притворяешься!». Дескать, раз на ногах стоишь, значит и работать можешь. Клянусь богом, чахоточных и сумасшедших за притворщиков считали и на работу выгоняли!

Те, у кого на родине семья осталась, об одном мечтали: как бы женою своих выписать да на поселение выйти. Оно хоть и не сладко жилось поселенцам, а все легче, чем каторжный урок выполнять да побой, уни-

жения от всякого начальства переносить.

Вот так и жил — маялся, смерти своей, как избавления, ожидал. Поплачешь темной ночью тихонечко в свой серый бушлат, когда на нарах все заснут, а утром опять за урок принимайся, если не хочешь на кобыле* побывать, плетей попробовать.

И вот лежу я летом девяностого в лазарете и об одном думаю: скорее бы уж конец и жизни, и мучениям моим.

Тут приходит в лазарет какой-то новый доктор. Принимает. Вызывают и меня. Раздеваюсь, подхожу. И вижу, что не такой это доктор, как наши идолобесы сахалинские. Лицо у него доброе, голос ласковый, а глаза такие лучистые. И говорит он с нашим братом, будто и мы настоящие люди, а не звери какие.

Ты откуда сам? — спрашивает он меня.

А из Таганрога, — отвечаю, — ваше высокородие...

Так ты же земляк мой, — говорит. А сам так-то славно улыбается, что у меня на душе будто светлее стало. — Ну, рассказывай, давно ли попал сюда, как живешь?.. Что болит?..

Поведал я ему, будто на исповеди, все свои печали. Потом говорю:

Дозвольте спросить, а вы чей будете из Таганрога?

Моя фамилия Чехов, Антон Павлович, — отвечает он. — Писатель я и приехал сюда познакомиться с жизнью ссыльных и каторжан. А сам достаю из кармана бумажку трехрублевую и сует ее мне в руку. — Возьми-ка, — шепчет, — тебе подкрепиться надо. Ослаб ты больно. Только не говори об этом никому.

Слушаюсь!.. Покорнейше благодарю, — тихонько бормочу я. А у самого сердце от радости так и прыгает. Потому как я и хлеба черного давно уже досыта не едал.

Да, многих из нашего брата он согрел и обласкал. Как мать родная, со всеми обращался. Особо много больных жалел. Бывало, и в лазарете, и дома у себя принимает. Лекарство каждому даст да еще рублишко прибавит. А уж тем, кто на поселение выходил, непременно поможет. Одному даже коровенку купил. Клянусь богом — истинная правда!..

Как узнали о доботе Антона Павловича, проходу ему, бедному, не давали. И к дому целой толпой просители разные собирались. Выйдет, бывало, Антон Павлович на крыльцо, улыбнется своей доброй улыбкой и скажет:

Братцы, я не миллионер какой, ей богу. Мне же не под силу всех вас одарить. Чем могу, тем всегда рад помочь. А уж больше не требуйте от меня, пожалуйста...

А на прощание все-таки хоть по двугривенному, да одарит.

Я когда из лазарета вышел, тоже не раз навещал к нему. Меня он, спасибо, завсегда жаловал и как с ровней обращался.

Тут, к концу лета, этап с бабами на судне пригнали. Одни, значит, как и наш брат, сами на каторгу угодили; другие, по письмам, к мужьям своим приехали. Засуетилась вся вольная тюрьма. Многие стали на пристань, в карантин собираться, невенчаных жен себе выбирать. Порядки были такие на каторге: обзаведешься семьей — на поселение можешь выйти. Все-таки легче жить.

Решил и я счастья попытать. Только, думаю, надо с Антоном Павловичем посоветоваться. Отправляюсь это вечером к нему домой.

Ваше высокородие, дозвольте о милости одной покорнейше просить вас.

Антон Павлович смеется:

Ты, земляк, что-то уж больно торжественно обращаешься ко мне сегодня. Что стряслось? Рассказывай.

Жениться, говорю, надумал да на поселение выходить. А то подохнешь тут на каторжных работах. Аккурат нынче судно с женщинами пришло. Так я на пристань хочу пой-

* Кобыла — деревянная скамья, на которой наказывали плетью.

ти, может, и мне удастся суженую себе подобрать.

Хорошее дело задумал, — говорит Антон Павлович. — Ну что ж, в добрый час, помогу тебе и жену у начальства испропачать, и на поселение в хорошем месте устроиться.

А не поможете ли мне одешонкой какой ни на есть, — говорю. — Штаны-то и рубаху я, по вашей милости, купил, сапоги тоже приобрел. А вот поверх рубашки надеть нечего. В арестантском бушлате оно не способно как-то...

Та-а-а... Действительно, не способно, — рассмеялся Чехов. И достает из чемодана вот этот самый пинжак. — А ну-ка, примеряй. Он большой. Думаю, подойдет на тебя.

Одеваю я, значит, пинжак. А он смеется:

Ну, теперь ты прямо настоящий жених. Носи его на счастье.

И пошел я, обряженный, на пристань. Там, на берегу, у самого моря, барак большой стоял — карантин назывался. И баб в нем полно. Сидят они, бедненькие, как овцы, в кучу сбились. Бледные, замученные. Ведь их, слезных, от самой Одессы на пароходе везли в грязнице, в духоте, на хлебе да воде.

Подхожу я к одной. Маленькая такая, шупленькая, как мокрый цыпленок. Сжалась этак в комочек, уткнула личико в колени себе и слезами заливалась.

Что ж ты так поздно плакать надумала, голубка? — спрашиваю. — Слезам здесь, милая, никто не верит. Здесь и без них воды хватает — со всех сторон вода.

Подняла она заплаканное лицо свое и смотрит на меня жалобно так. А глаза-то у нее ясные, хорошие. Смотрит и молчит.

Как зовут тебя?

Маланья.

А из каких мест будешь сама-то?

Ростовская...

Сколько же годков тебе, Маланья?

О рождестве сорок исполнится.

А сюда надолго ли?

На десять лет, — говорит. И снова плакать принимается.

И жалко мне ее стало, так-то жалко, что и выразить не могу. И боязно было, как бы не обидеть человека горьким сватовством своим. А все ж таки решился.

Маланья, — говорю, — посмотри-ка ты на меня хорошенько. Коли не противен я тебе, давай сойдемся. На поселение выйдем, вроде как вольные жить будем. Авось перебежесся. Вдвоем-то оно и горе легче переносить.

И рассказал я ей, какие порядки на каторге, как и чем народ живет, как маются люди на работе и в тюрьме, пухнут с голоду, побой, унижения всякие переносят, лебют и в могилу прежде времени сходят. Слушает она, молчит. Только пристально так смотрит на меня своими ясными глазами. Помолчала, подумала и говорит:

Ну, ладно, согласна я. Кажется, не злой ты человек и не захочешь обманывать меня.

Да уж какой там обман, какая злость! Я тебя, как свой глаз, беречь буду. Вот как!.. Только небогатый я, Маланья. Нет у меня ни дома, ни сада своего. Да пинжак-то этот вчера мне один добрый человек подарил...

Помог мне Антон Павлович и Маланьшу у начальства тюремного в жены себе испропачать, и на поселение с нею в хорошее место определиться. Деньжонками на обзаведение одарил нас. Только самым дорогим для меня всегда был этот пинжак.

Жили мы с моей Маланьей душа в душу. Померла она, бедная, от чахотки в том же самом году, когда скончался Антон Павлович. С той поры спрятал я пинжачок этот в сундук и берегу его как самое дорогое, что у меня осталось...

МЫ РАСПРОЩАЛИСЬ со стариком, дав обещание навесить его будущим летом.

А весной узнали, что он умер, завещав бедным односельчанам свою избушку и скудный скарб свой. Умирая, он попросил соседок обрядить его в заветный пиджак, подаренный знаменитым другом.

Е. ФЕДОРОВ.